

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

# Любовь куклы



Дмитрий Мамин-Сибиряк

**Любовь куклы**

«Public Domain»

1902

## **Мамин-Сибиряк Д. Н.**

Любовь куклы / Д. Н. Мамин-Сибиряк — «Public Domain», 1902

«Пароходный повар Егорушка волновался. Он, вообще, считал себя ответственным лицом за порядок на пароходе „Брат Яков“, делавшим рейсы (по Егорушкину – бегавшим) по р. Камчужной, между уездным городом Бобыльском и пристанью Красный Куст. Ниже пристани начинались пороги, которые начальство старалось уничтожить в течение ста лет, собирало на это предприятие деньги, получало какие-то таинственные субсидии и отчисления из каких-то еще более таинственных „специальных средств“. На этих порогах воспитался целый ряд водяных и „канальских“ инженеров...»

© Мамин-Сибиряк Д. Н., 1902

© Public Domain, 1902

# Дмитрий Мамин-Сибиряк

## Любовь куклы

### I

Пароходный повар Егорушка волновался. Он, вообще, считал себя ответственным лицом за порядок на пароходе «Брат Яков», делавшим рейсы (по Егорушкину – бегавшим) по р. Камчужной, между уездным городом Бобыльском и пристанью Красный Куст. Ниже пристани начинались пороги, которые начальство старалось уничтожить в течение ста лет, собирало на это предприятие деньги, получало какие-то таинственные субсидии и отчисления из каких-то еще более таинственных «специальных средств». На этих порогах воспитался целый ряд водяных и «канальских» инженеров. Самое дерзкое предприятие, совершенное этими неутомимыми тружениками, было то, что какой-то инженер Ефим Иваныч взорвал порохом один порожный камень. Камчужские сторожилы и сейчас вспоминают об этом удивительном событии.

– И откуда *он* только взялся? – ворчал Егорушка, вытирая запачканные стряпней руки о свою белую поварскую куртку. – Когда выбежали из Красного Куста, его и в помяне не было... Надо полагать, ночью сел на пароход, когда грузились дровами у Машкина-Верха.

Егорушка морщил лоб и усиленно моргал своим единственным глазом, – другой глаз вытек и был прикрыт распухшим веком. Ему было за шестьдесят, но старик удивительно сохранился и даже не утратил николаевской солдатской выправки. Он точно застыл в вечном желании отдать честь или сделать на караул какому-то невидимому грозному начальству.

А «он» преспокойно разгуливал на палубе третьего класса, ставя ноги по военному. По походке и по заметной кривизне ног Егорушка сразу определил отставного кавалериста. Видно птицу по полету... И ростом вышел, и здоров из себя, и вся повадка настоящая господская, хотя одежка и сборная, – старый дипломат, какая-то порыжелая, широкополая половская шляпа, штаны спрятаны в сапоги. Большие усы и запущенная, жесткая борода с легкой проседью тоже обличали военного. И красив был, надо полагать, а вот до какого положения дошел. Много и из господ таких-то бывает. Того гляди, еще медную кастрюлю из кухни сблаговестит, и поминай, как звали. Последняя мысль пришла в голову Егорушки решительно без всякого основания, но тем не менее сильно его беспокоила.

– Наверно, лишенный столицы... – думал вслух Егорушка. – Другая публика, как следует быть публике, а этот какой-то вредный навязался...

Публика на пароходе, действительно, набралась обыкновенная. В первом классе ехал «председатель» Иван Павлыч в форменной дворянской фуражке с красным околышем, потом земский врач, два купца по лесной части, монах из Чуевского монастыря, красивый и упитанный, читавший, не отрывая глаз, маленькое евангелие, потом белокурая барышня, распустившая по щекам волосы, как болонка, и т. д. Из второго класса публика попроще: две сельских учительницы, о. дьякон из Бобыльска, ездивший на свадьбу к брату, мелочной торговец из Красного Куста, ветеринарный фельдшер и мелкотравчатые чиновники разных ведомств. Егорушке нужно было знать наперечет публику этих двух классов. А вдруг потребуют филей-миньон или соус с трюфелями? Ступайка, угоди на одного Ивана Павлыча... Утробистый барин, одним словом.

Стояла половина поля. День выдался жаркий, а река стояла, как зеркало. Хоть-бы ветерком дунуло. А тут еще в кухне, как на том свете в аду. Егорушка в последнем был сам виноват, потому что нещадно палил хозяйские дрова с раннего утра. Да и кухня была маленькая, едва одному повернуться, и Егорушка выскакивал из неё, как ошпаренный. Впрочем, последнее

объяснялось не одним действием накаленной плиты, а также и неосторожным обращением с монополькой. По поводу последней слабости Егорушка оправдывался тем, что николаевскому солдату полагается «примочка».

– У нас как полагалось по артикулу? – объяснял Егорушка, вытирая потное лицо рукой. – Девять человек заколоти, а одного выучи... Каждый день вот какая битва шла, не приведи, Господи! Отдыхали-то на войне... Разе нынешний солдат может что-нибудь понимать? Ну-ка, вытяни носок... ха-ха!..

Сегодня Егорушка особенно страдал от жары и на этом основании с особенным неистовством ракаливал свою плиту. Он вытаскивал жестяной чайник с кипятком на скамейку у водяного колеса и отдувался чаем. Ничего не помогало... Да и скучно как-то одному. В третьем классе ехал монашук из неважных, и Егорушка его пригласил.

– Не хочешь-ли, батя, чайку?

Монах имел необыкновенно кроткий вид. Высокий, сгорбленный, с впалой грудью и длинными натруженными руками. Худое и длинное лицо чуть было тронато боролкой, из под послушнической скуфейки выбивались пряди прямых и серых, как лен, волос. Он ответил на приглашение Егорушки немного больной улыбкой, но подошел и занял место на скамеечке.

– В Чуевский монастырь ездил, батя? – допрашивал Егорушка, наливая стакан чая.

– Так... вообще... – уклончиво ответил послушник, поправляя расходившиеся полы заношенного подрясника.

– Я видел, как ты вперед ехал... А как звать?

– Павлин...

– Значит, брат Павлин. Так... Я сам хотел поступить в монахи, да терпенья не хватило. Вот табачишко курю, монопольку пью... А грехов – неочерпаемо!

Егорушка в отчаянии только махнул рукой...

– Господь милостив, ежели покаяться... – робко посоветовал брат Павлин, отхлебывая горячий чай. – Все от Господа.

– А ты из какого монастыря будешь?

– У нас не монастырь, а обитель Пресвятыя Богородицы Нечаянные Радости.

– Это на Бобьльском?

– Недалече...

– И много братии?

– Так, человек десяти не наберется. Я-то еще на послушании... Всего как три года в обители.

– Строго у вас, как я слышал?

– Нет, ничего... Для себя стараемся.

За чаем Егорушка довольно хитро навел разговор на таинственного незнакомца, который шагал целое утро по палубе третьего класса.

– Он с тобой что-то разговаривал, брат Павлин?

– А так... расспрашивал об обителях... про нашего игумена...

– Так... гм... Ну, а потом?

– Потом ничего...

– А из каких он будет, по твоему?

– А кто его знает... Так, трезвый человек.

Брат Павлин просто был глуп, как определил его про себя Егорушка. Овца какая-то... Прямо вредный человек, а он ничего не замечает. Эх, ты, простота обительская...

Эта сцена мирного чаепития была нарушена появлением самого вредного человека. Он подошел как-то незаметно и спросил глуховатым баском:

– Повар, можно у вас получить картофель?

Егорушка вскочил и отрапортовал:

– Сколько угодно-с... Картофель метер-дотель, картофель огратен, в сметане, о финзебр...

– Нет, просто горячий вареный картофель... – довольно сурово перебил его вредный человек.

– Значит, по просту вареная картошка?

– Вот именно...

– Этого никак невозможно, господин, а для буфетчика даже и обидно. Извините, у нас не обжорный ряд, чтобы на пятачок и картошка, и лук, и хлеб. У нас кушанья отпускаются по карточке. Ежели желаете, можно антрекот зажарить, сижка по польски приготовить... Другие господа весьма уважают филейминьён, баранье жиго... Можно соус бордлез подпустить, провансаль, ала Сущов...

– Хорошо, хорошо... А кашу можно получить?

– В каком смысле кашу-с, барин?

– Ну, например, гречневую, размазню, из проса?

– Тоже по карточке никак не выдет, господин. Вот ежели гурьевскую, с цукатом и миндалем, под сахарным колером с гвоздикой...

Вредный человек по военному круто повернулся на каблуках и зашагал к себе на палубу, а Егорушка подмигнул своими единственным оком брату Павлину и проговорил:

– Видел?

– Что-же, человек, как человек... Уважает простую пищу. Давеча утром чай пил с ситным...

– То да не то... расе он не понимает, что такое буфет на пароходе? Оченно хорошо понимает... А вот ежели медные кастрюли плохо лежат да повар ворон считает – ну, тогда и поминай, как звали.

– Вы это напрасно...

– Я?!.. Ого! Достаточно насмотрелись на тому подобных лишенных столицы... Скажите, пожалуйста, вареной картошки захотел и размазни?!.. Видалис и даже вполне таких фруктов и вполне можем их понимать-с. Картошка... размазня...

Егорушка серьезно рассердился и даже начал плевать.

## II

«Он», по-видимому, ничего не подозревал и спросил себе прибор для чая. Третьеклассный официант в грязной ситцевой рубаше и засаленном пиджаке подал чайник с кипятком и грязный стакан. «Он» брезгливо поморщился, не торопясь, достал из узелка полотенце и привел стакан в надлежащий вид. Из свертка выпал при этом узенький желтоватый конверт, на котором тонким женским почерком было написано: Михаилу Петровичу Половецкому. Он поднял его, пробежал лежавшее в нем письмо, разорвал и бросил в воду.

– Михаил Петрович Половецкий... – повторил он про себя свое имя и горько улыбнулся. – Нет больше Михаила Петровича...

Он мысленно еще раз перечитал строки брошенного женского письма, где каждая буква лгала... Да, ложь и ложь, бесконечная женская ложь, тонкая, как паутина, и, как паутина, льнущая ко всему. А он так хорошо чувствовал себя именно потому, что ушел от этой лжи и переживал блаженное ощущение свободы, как больной, который встал с постели. Будет, довольно... Прошлое умерло.

– Да, хорошо... – подумал вслух Половецкий, глядя на убежавший берег реки. – Хорошо потому, что ничего не нужно.

Ни сама р. Камчужная, ни её берега никаких особенных красот не представляли, но Половецкому все теперь казалось в каком-то особенном освещении, точно он видел эту бледную

красками и линиями русскую северную природу в первый раз. Да, он любовался красотами Капри, венецианских лагун, альпийских ледников, прибоем Атлантического океана, а своей родной природы не существовало. А ведь она чудно хороша, если хорошенько всмотреться, она – широкий масштаб, по которому выстроилась русская душа. Что может быть лучше этих бледных акварельных тонов северной зелени, этих мягких, ласкающих линий и контуров, этого бледно-голубого неба? О, как он отлично все это понимал и чувствовал, и любил именно сейчас... Ему делалось даже жаль ехавших в первом классе пассажиров, которые так равнодушно относились к окружающему их пейзажу.

Это созерцательное настроение было прервано громким хохотом Егорушки, который хлопал себя по ляжкам и раскачивался всем корпусом.

– Да не игумен-ли... а? – повторял он, задыхаясь. Брат Павлин сконфуженно улыбался.

Половецкий подошел к нам и спросил, в чем дело.

– Нет, пусть он сам расскажет... – отвечал солдат, продолжая хохотать. – Вот так игумен... Ловко!.. Ты, грит, с молитвой работаешь?!.. Ха-ха...

– Это они даже совсем напрасно, – объяснял смущенный брат Павлин. – Я им рассказал про обитель, а они смеются...

– Ну, ну, расскажи еще разок?

– У нас обитель небольшая, всей братии семь человек, а я, значит, восьмой, – заговорил брат Павлин уже без смущения. – И обител совсем особенная... совсем в болоте стоит, в водополы или осенью недель по шести ни пройти, ни проехать. Даже на лодках нет ходу...

– Зачем же в болото забрались, батя, точно комары?

– А это уж не от нас, а от божьего соизволения. Чудо было... Это когда царь Грозный казнил город Бобыльск. Сначала-то приехал милостивым, а потом и начал. Из Бобыльского монастыря велел снять колокол, привязал бобыльского игумна бородой к колоколу и припечатал ее своей царской печатью, а потом колокол с припечатанным игуменом и велел бросить в Камчужную.

– Ловко! Ох-хо-хо... – заливался солдат.

– Ну, и братию монашескую начал казнить немилостиво. Кому голову отрубил, кого в воду бросил. Из всего монашеского состава спасся один старец Мисаил. Он убежал в болото и три дня просидел в воде по горло. Искали, искали и никак не могли сыскать... Господь сохранил блаженного человека, а он в память о чуде и поставил обитель Нечаянные Радости. А царь Иван Грозный сделал в Бобыльскую обитель большой вклад на вечный помин своей царской души.

– Ты, батя, про игумена-то своего расскажи, – перебил Егорушка. – Ведь тоже Мисаилом звать...

– Что-же, игумен у нас хороший, строгий и милостивый, спокойно ответил брат Павлин. – Раньше-то я хаживал в обитель по сапожному делу, ну, а летом помогал сено косить, дрова рубить... Очень мне нравилось тихое монашеское житие. Место глухое, перед обителью озеро... Когда идет служба, так по озеру-то далеко несется дивное монашеское пение. Даже слеза прошибает... Так-то я лет пять ходил в обитель, а потом о. игумен и говорит: «Павлин, оставайся у нас... Будешь в миру жить – осквернишься». Я по первоначальному испугался, потому как монашеское послушание строгое. Боялся не выдержать... Однако, о. игумен по доброте своей уговорил меня. Только и всего.

– А послушание-то? – допытывал Егорушка.

– Какое же послушание; делаю то же самое, что и раньше.

– Вот, вот... Только даром работаешь на всю обитель, а братия спит. Ха-ха... Ловко приспособил игумен дарового работничка.

Обратившись к Половецкому, Егорушка добавил:

– Да еще что делают с ним: не дают отдыха и в праздники. В церковь даже летом некогда сходить... «Работа на обитель, грит игумен-то, паче молитвы!»! Павлин-то и трубит за всю братию...

– Надо послушание до конца пройти, – кротко объяснял брат Павлид.

– А потом-то?

– А потом приму окончательный постриг, ежели Господь сподобит.

Голубиная кротость брата Павлина очень понравилась Половецкому, и даже его некрасивое лицо казалось ему теперь красивым. Когда Егорушка с какой-то оторопью бросился к себе в кухню жарить антрекот для Ивана Павлыча, Половецкий разговорился с братом Павлином и узнал удивительные новости. Разговор зашел о городе Бобьльске, история которого являлась чем-то загадочным и удивительным. Он поставлен был на границе новгородской пятины и московского рубежа. На этом основании его постоянно зорили московские воеводы, а когда он попадал в московский полон – зорили и грабили сами новгородцы. Кроме того, приложила свою руку Литва немилостивая, и даже татары.

– Татары не доходили до Бобьльска, – объяснял Половецкий, припоминая историю.

– Сами-то они не приходили, а высылали стрелу... Значит, баскак наедет и заставляет выкупать стрелу. Много Бобьльских денежек набрала орда в разное время...

– Откуда вы все это знаете?

– Летописцы были и все записали. Первый-то был тот самый игумен, которого Иван Грозный с колоколом утопил. Ионой Шелудяком назывался. У него про татарскую стрелу и было записано. Потом был летописец, тоже игумен, Иакинф Болящий. Он про Грозного описал... А после Грозного в Бобьльске объявился самозванец Якуня и за свое предрезостное воровство был повешен жалостливым образом.

– Как это жалостливым образом?

– А не знаю... Я ведь не грамотный, да и летописи все пригорели. У нас в обители живет о. келарь, древний старичок, так он все знает и рассказывает.

– Были и еще летописцы?

– Был один, уж последний – Пафнутий Хроменький. Ну, этот так себе был... Все о Петре Великом писал, как он наезжал в Бобьльск и весьма угнетал народ своим стремлением. Легко сказать, хотел оборотить Камчужную в канал, чтобы из Питера можно было проехать водой вплоть до Киева. Однако Господь отнес царскую беду... Ну, тогда царь Петр поступил наоборот. Полюбилась ему заповедная липовая роща под Бобьльском, которую развели монахи. Ну, он и велел всю рощу целиком перевезти к себе в Питер... Вот было горе, вот была битва, когда тыщи три дерев нужно было тащить по болотам верст триста. Сколько народу погибло, сколько лошадей – и не пересчитать. А царь Петр приехал в Бобьльск, поблагодарил жителей и на память посадил на месте липовой рощи жолудь. Теперь вот какой царский дуб растет... Царь Петр ездил по всему царству и всегда возил в кармане желуди. Если город ему понравится, он сейчас и посадит желудь, чтобы помнили его. Ну, а после царя Петра уж никакой истории не было, кроме пожаров да холерных годов.

Брат Павлин с трогательной наивностью перепутывал исторические события, лица и отдельные факты, так что Половецкому даже не хотелось его разубеждать. Ведь наивность – проявление нетронутости, а именно такой силой являлся брат Павлин. Все у него выходило как-то необыкновенно просто. И обитель, и о. игумен, и удивительная история города Бобьльска, и собственная жизнь – все в одном масштабе, и от всего веяло тем особенным теплом, какое дает только одна русская печка.

– А знаете, господин... – заговорил брат Павлин после некоторой паузы. – Извините, не умею вас назвать...

– Называйте просто: брат Михаил...

Будущий инок посмотрел на Половецкого недоверчивым взглядом и улыбнулся.



– Да, просто брат Михаил, – повторил Половецкий и тоже улыбнулся.

Странно, что улыбка как-то не шла к его немного суровому лицу. Вернее сказать, она придавала ему какое-то чуждое, несвойственное всему складу выражение.

– А я хотел сказать... (Брат Павлин замялся, не решаясь назвать Половецкого братом Михаилом). Видите-ли, у нас в обители есть брат Ираклий... Большого ума человек, но строптивец. Вот он меня и смутил... Придется о. игумну каяться. Обманул я его, как неверный раб...

– Как-же вы его обманули?

– Ох, случился такой грех... Брат Ираклий все подзуживал. И то не так у нас в обители, и это не так, и о. игумен строжит по напрасну, и на счет пищи... и все хвалит Чуевскую обитель. Уж там все лучше... И смутил меня. Я и сказал, что у меня дядя помирает, а дяди-то и не бывало. Разве это хорошо? Ираклий-же и научил... Ну, о. игумен отпустил меня, благословил на дорогу... Ах, как это совестно вышло все!.. Вот я и поехал в Чуевскую обитель, прожил там три дня и даже заплакал... Лучше нашей обители нет, а только строптивость брата Ираклия меня ввела в обман.

– Ну, это грех не велик. Всякий человек ищет, где лучше...

– Грех-то не велик, а велика совесть.

### III

Ночь. Река точно застыла, и только оставляемые пароходом гряды волн тяжело бьются в глинистые берега. Темное июльское небо точно усажено звездами, бледными, трепещущими в воде, не оставляющими после себя следа и вечно живыми. Как ничтожен человек, когда он смотрит на небо... Ведь от ближайшей звезды свет приходит только через восемь лет, и небо, в его настоящем виде, только блестящая ложь. И эти миры миров смотрят на нас светлыми глазами, и мы никогда не постигнем их тайны. Половецкий долго смотрел на реку и на небо и переживал такое ощущение, как будто он поднимается кверху, как бывает только в молодых снах.

– Господи, ведь каждый день – чудо, – думал он. – И минута каждая – чудо... Каждый листочек на дереве – чудо, и травка, и козявка, и капля воды. Непрерывающееся вечное чудо, которое окружает нас, а еще большее чудо – внутри нас. Бездна бездну призывающая...

Он долго стоял над люком, в который можно было рассмотреть работавшую пароходную машину. И пароход был скверный, старой конструкции, и машина дрянная, но в работе последней чувствовалась все-таки могучая сила. Ведь работала не машина, т. е. известная комбинация стальных, железных и медных частей, и не вода, превращенная в пар, а вечно живая человеческая мысль. Машинным отделением пароход делился на две половины – носовая часть для серой публики, а корма для привилегированной. Всего удивительнее было на этом углом суденышке, как, впрочем, и на лучших волжских пароходах, распределение грязи, доведенное чуть не до математической точности, так что если бы разница в цене билета составляла всего одну копейку, то и грязи получилось бы в одном классе на копейку больше, а в другом меньше. Кажется в этой системе распределения грязи заключается единственная аккуратность русского человека.

Эта грязь корбила Половецкого, когда приходилось вечером пить чай за грязным столиком и укладываться потом спать на грязной пароходной скамейке. Брат Павлин поместился напротив и наблюдал за Половецким улыбающимися глазами. Он понял, что барину претит непролазная пароходная грязь.

– Серый народ едет... – объяснял он, точно стараясь оправдаться. – Привыкли к грязи сызмала.

– Да, но все-таки... Мне кажется, что можно бы обойтись и без грязи. Это ведь совсем нетрудно. Например, вымыть вот этот столик, нашему официанту вымыть руки, повару не вытирать грязных рук о свою куртку.

– Да, оно конечно... Только уж привычка... У нас крестьяне даже избу не метут, чтобы теплее было.

– А в обители у вас чисто?

– Даже весьма строго по этой части...

Половецкий и брат Павлин уже улеглись спать, как неожиданно явился повар Егорушка. В одной руке он нес жестяную лампочку, а в другой чайник с горячей водой.

– Батя, погоди спать... Давай, чайку попьем. Ух, умаял же меня сегодня Иван Павлыч! Прямо без ног меня сделал... За каждым соусом меня раз по пяти гонял. А я унесу соус-то, постою с ним за дверью и назад «Ну вот теперь хорошо», хвалит Иван Павлыч. Ха-ха... Страшный привередник.

– А как его фамилия? – спросил Половецкий.

– Ну, этого уж не знаю, господин... Мы его председателем зовем.

– Где же он преседательствует?

– А кто его знает... Просто председатель города Бобыльска.

Егорушка был заметно навеселе, хотя и держался на ногах твердо. Он несколько раз хлопал брата Павлина по спине, беспричинно хихикал и, вообще, находился в хорошем расположении духа.

– Вы какой губернии-то, батя? – спрашивал он. – Да, из Ярославской... так... Всем бы хороши ваши ярославцы, да только грибов боятся... х-ха! Ярославец грибы не будет есть, потому как через гриб полк шагал... Тоже вот телятины не уважают... потому как теленок выходит по ихнему незаконорожденный... Мы, значит, костромские, дразним их этим самым. Барин, чайку с нами? – предлагал он Половецкому.

– Нет, спасибо, я уже пил...

Неугомонный солдат продолжал болтать, поддразнивая брата Павлина.

– Хороша ваша обитель, батя, правильная, а только одно не хорошо... Зачем у вас девка была игуменом? Положим, не простая девка, а княжиха, ну, а все-таки как будто не ладно...

– Это не у нас, а в женской Зачатиевской обители действительно был такой случай. Там игуменьей лет тридцать состояла княжиха... Она прямо с балу приехала в монастырь, как была, во всей бальной одеже. Ее на балу жених обидел, ну, она не стерпела и сейчас в монастырь. Ндравная, сказывают, была, строгая. Померши уж теперь лет с десять...

– А за помин души графа Евтихия Ларивоныча молитесь?

– Молимся... От него у нас вклад на вечные времена.

– Больше молитесь, батя. Много на ем наших солдатских грехов... Ох, трещала солдатская спинушка!..

– Давно это было... Еще при Александре Благословенном.

– Давно-то оно давно, а память осталась. Вон на берегу, сейчас за мысом его хоромины стоят... И солдаты только были. Тридцать пять лет выслуга, а верстали мужиков сорока лет иногда... До смерти солдат. Я пятнадцать годов отбыл. Поляка замирал...

– Страшно на войне? – полюбопытствовал брат Павлин.

– Это только думать страшно, а там и бояться некогда. Ты палишь, в тебя палят... х-ха!

– И... и вы убивали человека? – робко спросил брат Павлин, с трудом выговаривая роковое слово.

– И даже очень просто... Отечество, первое дело, а потом начальство. Так, ежели сосчитать, душ пять порешил...

– И... и вам не страшно, т. е. тогда, когда вы...

– Чего бояться-то? Мы, например, их на острове устигли, польшу эту самую. Человек с четыреста набралось конницы, а нас лазутчик провел... Ночь, дождь – ну, ни одного не осталось живого. В темноте-то где разбирать, убил или не убил... Меня по голове здорово палашом хлопнули, два месяца в больнице вылежал.

Лицо Егорушки оставалось добродушным, точно он рассказывал самую обыкновенную вещь. Именно это добродушие и покорило Половецкого, напомнив ему целый ряд сцен и эпизодов из последней турецкой войны, в которой он принимал участие. Да, он видел все ужасы войны и тоже был ранен, как Егорушка, но не мог вспомнить о всем пережитом с его равнодушием.

– Главное, неприятель... – объяснял Егорушка. – Он, ведь, меня не жалеет, ну, и я его не жалею...

– Все-таки живой человек, и вдруг...

– Ну, про это начальство знает. Известно, все люди-человеки. У нас свое начальство, у них – свое... А там уж Господь разберет, кто и чего стоил.

– Бог один у всех... – тоскливо заметил брат Павлин.

– А как же сказано: христолюбивое воинство? Бог-то один, а вера, значит, разная... Вот и вы молитесь по своим обителям об одолении супостата. И даже очень просто... Мы воюем, а вы за наши грехи Богу молитесь...

Егорушка долго еще что-то рассказывал, но Половецкий уже дремал, не слушая его болтовни. В ночной тиши с особенной резкостью выдавались и глухая работа машины, и шум воды. Тянулась смешанная струя звуков, и, прислушиваясь к удушливым хрипам паровой машины, Половецкий совершенно ясно слышал картавый, молодой женский голос, который без конца повторял одну и ту же фразу:

...А хр-рам оставленный – все хр-рам.  
Кумир-р поверженный – все Бог.

– Нет, не правда!.. – хотелось крикнуть Половецкому.

Разве вода может говорить? Машина при всей её подавляющей физической силе не может выдавить из себя ни одного слова... А слова повторялись, он их слышал совершенно ясно и даже мог различить интонации в произношении. Он в каком-то ужасе сел на своей скамейке и удивился, что кругом никого не было, а против него мирно спал брат Павлин. Половецкий вздохнул свободно.

– Милый брат... – подумал он, прислушиваясь к ровному дыханию будущего инок.

Начинало светать. Все кругом спали. Шум паровой машины разносился далеко по реке. На луговом берегу Камчужной бродил волокнистый туман. Половецкий долго ходил по палубе. Спать не хотелось. Он в последнее время, вообще, спал плохо, а сегодня просто задремал и проснулся от слуховой галлюцинации, которая, как молния, осветила все прошлое. Боже мой, как он жил, если бы можно было рассказать... И разве это был он? Какое-то полуживотное состояние, затемнение сознания, полная разнузданность дурных инстинктов, отсутствие задерживающих нравственных основ. День шел за днем, как звенья роковой цепи. Не являлось даже мысли о том, что необходимо проверить себя, подвести итог, просто подумать о другой жизни. И крутом все другие жили так-же, т. е. люди известного обеспеченного круга. У всех порядок жизни и логика были одинаковы. Сытая тоска, мучительная погоня за удовольствиями, пресыщение, апатия и недовольство жизнью. Мужчины искали развлечения на стороне, женщины – тоже. Это были два вечно враждовавших лагеря, и семейная жизнь держалась только приличиями. Да и какая могла быть семейная жизнь при таких условиях... Прибавьте к этому дешёвенький скептицизм, презрение к остальным людям, которые не могут так жить

и в лучшем случае – общественная деятельность на подкладке личного самолюбия. А главное, никакой серьезной работы и серьезных интересов в жизни...

– И это был я... – повторил Половецкий в каком-то ужасе.

Смысл и цель жизни были затемнены, красота окружающего проходила незаметной. А сколько можно было сделать хорошего, доброго, честного, любящего...

– Папа, а как другие живут? – спрашивал его детский голос.

– Каждый живет по своему, – уклончиво отвечал он, потому что нечего было отвечать.

Он лгал перед ребенком и не сознавал этого. Нужно было ответить так:

– Твой папа, милая девочка, дрянной человек и не знает, как живут другие, т. е. большинство, потому что думает только о себе и своей легкой жизни.

Ах, как мучил его временами этот детский голос... И он его больше не услышит на яву, а только во сне. Половецкого охватила смертная тоска, и он едва сдерживал накопившиеся в груди слезы.

Убедившись, что все кругом спят, Половецкий торопливо развернул котомку, завернутую в клеенку, вынул из неё большую куклу и поцеловал запачканное личико со слезами на глазах.

– Милая... милая... – шептал он, прижимая куклу к груди.

#### IV

Утром пароход долго простоял у пристани Гребешки. Сначала грузили дрова, а потом ждали какую-то важную чиновную особу. Брат Павлин начал волноваться. «Брат Яков» придет в Бобыльск с большим опозданием, к самому вечеру и придется заночевать в городе, а всех капиталов у будущего инока оставалось четыре копейки.

– Задаст тебе жару и пару игумен, – поддразнивал повар Егорушка.

– Это ничего... По делу вору и мука. А лиха беда в том, что работа стоит. Какое сейчас время-то? Страда стоит, а я целую неделю без всякого дела прогулял.

– В том роде, как барыня... Ах, ты, горе луковое!..

Егорушка продолжал все время следить за Половецким, даже ночью, когда тот бродил по палубе.

– Ох, не прост человек... – соображал Егорушка. – Его и сон не берет... Сейчас видно, у кого что на уме. Вон председатель, как только проснулся и сейчас подавай ему антрекот... Потом приговаривался к пирожкам... А этот бродит, как неприкаянная душа.

За время стоянки набралась новая публика, особенно наполнился третий класс. Чувствовалась уже близость Бобыльска, как центра. Ехали поставщики телятины, скупщики яиц, сеньные подрядчики и т. д. Между прочим, сели два солидных мужичка и начали ссориться, очевидно продолжая заведенный еще в деревне разговор.

– Дураки мы, и больше ничего, – повторял рыжебородый мужик в рваной шапке. – Прямо от своей глупости дураки...

Его спутник, оборванный, сгорбленный мужичок, с бородкой клинушкой угнетенно молчал. Изредка он подергивал левым плечом и слезливо моргал подслеповатыми глазами.

– Да, дураки, – повторял рыжий. – Сколько берлогов мы оказали барину Половецкому? На, получай сотельный билет... Помнишь, как он ухлопал медведицу в восемнадцать пудов? А нынче цена вышла-бы по четвертному билету за пуд... Сосчитай-ка... восемнадцать четвертных... двести пятьдесят да двести – четыреста пятьдесят и выйдет. А мы-то за сотельный билет просолили медведицу...

Половецкий даже покраснел, слушая этот разговор. Мужички – медвежатники, обкладывавшие медвежьими берлогами, конечно, сейчас не узнали-бы его, хотя и говорили именно о нем. Ах, как давно все это было... Да, он убил медведицу и был счастлив этим подвигом, потому

что до известной степени рисковал собственной жизнью. А к чему он это делал? Сейчас он решительно не мог бы ответить.

Рыжий медвежатник только делал вид, что не узнал Половецкого, и с расчетом назвал его фамилию. Ишь, как перерядился, точно собрался куда-нибудь на богомолье. Когда пароход, наконец, отвалил, он подошел к Егорушке и спросил:

– А давно вон тот барин едет?

– А ты его знаешь? – обрадовался Егорушка.

– Случалось... На медведя вместе хаживали. Михайлой Петровичем звать. Ловкий, удалый барин... Он тогда служил офицером, жена красавица, все было по богатому.

– Так, так... А я то и ни весть чего надумался о нем. Сел он прошлой ночью за Красным Кустом. Так-с... Ах, ты грех какой вышел...

– У него большущее имение в Тверской губернии, да у жены два в нашей Новгородской. Одним словом, жили светленько...

– Проигрался в карты – вот и все, – решил Егорушка, махнув рукой. А я то, дуралей, всю ночь караулил... Думаю, сблаговестит он у меня кастрюли.

– Куда бы ему, кажется, ехать, – соображал мужичок, подергивая бородку. – И с котомкой едет... Не проста дело.

Егорушка только крутил головой. Нынче мудреные и господа пошли, не то, что прежде. Один председатель из настоящих господ и остался.

Половецкий видел особу, из-за которой пароход простоял на пристани целых пять часов. Это был брюзглий, прежде времени состарившийся господин в штатском костюме. Он шел с какой-то особой важностью. Его провожали несколько полицейских чинов и какие-то чиновники не из важных. Вглядевшись в этого господина, Половецкий узнал своего бывшего приятеля по корпусу. Боже мой, как он изменился и постарел за последние года, когда бросил Петербург и посвятил себя провинциальной службе. По жене Половецкий призодался ему дальним родственником. Перед отъездом из Петербурга Половецкий прочел в газетах о назначении Палтусова на выдающийся пост, но не знал, которого из братьев. «Председатель» Иван Павлыч так и вытянулся пред особой, но Палтусов едва отдал ему поклон. Это было олицетворение чиновничьего тщеславия.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.